

Воспоминания о Елене Андреевне Борисовой

Три небольших текста, написанных коллегами и дочерью Е.А. Борисовой, призваны воссоздать ее образ не только как ученого, но и как человека — коллеги, подруги, матери, жены. Здесь приводятся факты из ее непростой личной биографии, анализируются лирические стихи, рассказывается о роли в жизни Института искусствознания, об участии в знаменитых институтских капустниках.

Ключевые слова:

Е. А. Борисова,
А. Я. Борисов, В. В. Таланов,
Ю. П. Гнедовский,
блокада, эвакуация,
Академия художеств,
Институт искусствознания,
«Синий мост».

НАТАЛИЯ СИПОВСКАЯ. ПЕТЕРБУРЖЕНКА

Высокая, статная, ироничная — такой запомнилась мне Елена Борисовна со дня нашей первой встречи. Это было в 1991 году на «смотре» на которых я проходила перед поступлением в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института искусствознания, как тогда именовали наш институт. Сознаюсь, тот день я помню плохо. Что неудивительно. Непростое дело для юного искусствоведа предстать с докладом перед сонмом великих — Глебом Геннадиевичем Поспеловым, Григорием Юрьевичем Стерниным, Олегом Александровичем Швидковским, Вигдарией Эфраимовной Хазановой, Татьяной Павловной Каждан, Натальей Александровной Евсиной — теми, кого знала тогда не по лицам, а по именам с корешков книг или почтительным упоминаниям в лекциях и профессиональных беседах. Скажем честно, лиц запомнила мало. Елена Андреевна была одной из немногих. Теперь понимаю, что причин тому было три. Во-первых, внешне — сложением и манерой — она была похожа на мою «научную маму» Лидию Владимировну Андрееву, которая и представила меня в институт. Во-вторых, Елена Андреевна в ту пору, подготовив несколько совместных изданий, была в живом контакте со Стерниным, который предполагался моим будущим научным руководителем, и посему проявляла к кандидатке очевидный интерес. А «в-третьих» мне и сейчас сформулировать трудно. Что-то вроде ощущения родовой близости, почувствовать которую вполне никогда не было достаточных причин. Здесь не было ни тени наставничества, ни отдельных дружеских отношений, ни ярко проявленной симпатии и тепла. Все эти вещи совсем не «вязались» с Еленой Андреевной с ее сдержанной вежливостью и бонтонной дистанцированностью.

«Петербургенка» — окрестила я ее про себя, еще не зная обстоятельств ее биографии. И в этом амплуа Елена Андреевна существовала для меня и потом, несмотря на множество эпизодов, обнаруживших ее искристый юмор и чувство живой (а подчас и резкой) фразы. Очевидно,



1. Елена Андреевна Борисова у здания
Института искусствознания
Середина 1970-х

что оба эти свойства были присущи ей в высшей мере: иначе как бы сложилась ее звездная карьера в легендарной капустной труппе института 1970–1980-х годов. Но даже знание всех этих обстоятельств, долгая и счастливая профессиональным знакомством жизнь внутри сектора, совместный хохот и досады на неудачи не изменили того первого впечатления: сдержанность, достоинство и живой интерес в глазах.

В ту пору в центре научных интересов Елены Андреевны была проблематика русской архитектуры конца XIX — начала XX века. Вернее сказать, как раз тогда ее исследования этого периода находились в стадии апогея и объемной реализации. Начались же они задолго до того. Первая ее книга на эту тему, написанная в соавторстве с Татьяной Павловной Каждан и посвященная русской архитектуре конца XIX — начала XX века, увидела свет еще в 1971 году [7]. Это была первая крупная публикация, предложившая взвешенно взглянуть на архитектуру эпохи, еще недавно являвшуюся символом буржуазного упадка и декаданса. Речь шла о модерне — стиле, который двадцать лет спустя виделся не иначе как воплощением архитектурной изысканности и хорошего вкуса. И в этом превращении исследования Елены Андреевны сыграли одну из ведущих ролей. В 1990 году вышел роскошный фолиант «Русский модерн», подготовленный в соавторстве с Григорием Юрьевичем Стерниным [8]¹. Этот труд, так же как и изданные двумя годами ранее монографии Дмитрия Владимировича Сарабянова «Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы» и Евгении Ивановны Кириченко «Проблемы развития русской архитектуры середины XIX — начала XX вв.»², подвели итог двадцатилетию обширной работы над одной из самых актуальных на тот период тем в отечественном искусствознании³. Книги

- 1 Эта книга с фотографиями И. А. Пальмина сначала вышла на французском (Borisova H., Sternin G. *Art Nouveau Russe*. Paris: Editions Du Regard, 1987) и английском (Borisova E., Sternin G. *Russian Art Nouveau*. New York: Rizzoli, 1988) языках.
- 2 Сарабянов Д. В. *Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы*. В 2 частях. М.: Искусство, 1989; Кириченко Е. И. *Проблемы развития русской архитектуры середины XIX — начала XX вв.* М., 1989.
- 3 Перечислю лишь наиболее существенные публикации 1960–1980 годов других исследователей: Пунин А. Л. *Вопросы синтеза искусств в архитектуре модерна* // *Графика. Доклады XXI научной конференции*. Ленинградский инженерно-строительный институт. Л., 1963; Кириченко Е. И. *Интерьер русского модерна (1900–1910)* // *Декоративное искусство СССР*. 1971. № 10; Sternin G. *Quelques problèmes de l'étude du "modern" russe* // *Actes du XXII-e Congrès international des historiens de l'art*, 1969. Budapest, 1972; Монахова Л. П. *Становление эстетического стереотипа предметных форм в период модерна* // *Материалы по истории художественного конструирования*. М., 1972;

такого рода называют фундаментальными и базисными. Самые обширные фрагменты в книге «Русский модерн» посвящены архитектуре и написаны Еленой Андреевной.

Ее стиль отличала точность, если не сказать — изящество определенных, передающих нюансы памятника, индивидуального архитектурного почерка, стиля в целом. Для выявления принципиальности перелома в работе с историческим прообразом, произошедшим в архитектуре модерна, ею была предложена антитеза: «стилизаторство» и «стилизация». Первое характеризовало приемы аппликативного цитирования мастеров эклектики, второе — свободный творческий художественный подход создателей стиля модерн. Для нее, разделявшей и настойчиво проводившей на материале архитектуры идею о том, что генерация нового стиля происходила на основе творческого переосмысления «экзотических» с точки зрения классики форм — восточных, барочных, локальных средневековых (в России — естественно, древнерусских) [2], это различие имело принципиальное значение. И хотя это противопоставление не вполне корректно с точки зрения терминологии той эпохи, но в качестве исследовательского определения оно отлично послужило его автору, и с успехом работает по сей день.

Следующим должен был издаваться «Русский неоклассицизм», писавшийся в том же соавторстве. Но поскольку 1990-е никак не способствовали выпуску фолиантов, книга вышла в свет лишь в 2002 году [9]. В отличие от «Модерна», это исследование было не столько итогом, сколько — на момент написания — первым обобщающим трудом на животрепещущую тему. Неоклассика начала XX века, оказавшаяся в промежуточном положении между мощно заявленными в научной литературе модерном и конструктивизмом, стала привлекать все большее внимание — и с точки зрения развития неоклассической линии вообще, и с точки зрения ее конкретного воплощения внутри ясно считываемой традиции модернистской (функционалистской). Серьезно это тема не раз-

Жадова Л. А. Поиски художественного синтеза на рубеже столетий (Искусствоведческие заметки) // Декоративное искусство СССР. 1976. № 8; Лисовский В. Г. Особенности русской архитектуры конца XIX — начала XX вв. Л., 1976; Турчин В. С. Социальные и эстетические противоречия стиля модерн // Вестник Московского университета. История. 1977. № 6; Сарабянов Д. В. К определению стиля модерн // Советское искусствознание» 78/2. 1979; Кириллов В. В. Архитектура русского модерна. М., 1979; Кириченко Е. И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1978; Стернин Г. Ю. Русская художественная культура второй половины XIX — начала XX века. М., 1984.

работана и до сей поры, и книга Борисовой и Стернина остается чуть ли не единственным крупным изданием, в котором неоклассицизм начала XX века постулирован как самостоятельное и целостное явление⁴.

Пока «Неоклассицизм» лежал под спудом, тема судьбы классической традиции в архитектуре неклассического времени была разработана Борисовой в другой работе, посвященной на сей раз первой трети XIX века — то есть началу приключений неоклассики в культуре модернистского момента ее становления. Я имею в виду ее книгу «Русская архитектура в эпоху романтизма», опубликованную в 1997 году [5]. В этом небольшом издании было сразу два серьезных сюжета, которые до сих пор для меня выглядят эвристическими. Во-первых, это публикация обширного материала, впервые выявившего масштабы и значимость неклассической линии внутри архитектуры александровского и раннего николаевского времени: от Белой башни и Арсенала в Царском Селе до русских деревень под прусским Потсдамом. Понятно, что изводы форм готической и традиционной русской архитектуры напрямую соотносились с приоритетами романтического времени. Но именно под этим углом Борисова предложила взглянуть и на вполне традиционные неоклассические формы, которые, как известно, приобрели в ту пору невиданный прежде размах, выпуклость и даже пафосность. Ее определение ампира как неоклассики времени романтизма было вторым, а для меня — главным существенным новшеством этой книги. Это позволило выявить суть коренного перелома по отношению к архитектурной практике, предопределившего ее развитие в культуре, которую, вслед за Гегелем, можно назвать новейшей. Я имею в виду примат смысла, идеи, в чем бы она ни заключалась — вплоть до идейно постулируемой функциональности, а не инвенции на основе по-аристотелевски абсолютных форм, как в зодчестве предшествовавших стилевых формаций.

Собственно этот подход предопределил яркий прорыв последних работ Елены Андреевны, связанных с подготовкой глав для томов новой «Истории русского искусства», работа над которой началась в 2003 году. Судя по прежним публикациям, XIX век занимал Борисову всегда [1; 3; 4]. Несмотря на отрицательно оценочный привкус употребляемого

4 Еще одним важным изданием, посвященным неоклассике начала XX века, стала книга Г. И. Ревзина, вышедшая отдельным выпуском альманаха «Архив архитектуры»: Ревзин Г. И. Проблема стиля в архитектуре неоклассицизма начала XX века. М., 1992.

ею слова «стилизаторство», Елена Андреевна с энтузиазмом писала о конструкторских и планировочных открытиях архитектуры эклектики, о состоятельности стилистических экспериментов ее ведущих мастеров. Но теперь, рассматривая архитектуру позапрошлого столетия в длительной перспективе — от «александрова начала» до становления модерна в предложенном ею смысловом аспекте, Елена Андреевна чертила новую историю русской архитектуры XIX — первой половины XX века как единый и увлекательный процесс, находящийся в тесной связи со становлением традиции модернити.

Словом, XIX век перестал быть томным. Архитектура столетия, прежде расколотая на две половины: со взлетом ампирных проектов и истончением неоклассики — в первой, и экспериментальными затеями в ответ на «вызовы времени» — во второй, обрела общность и осмысленность. В главах Борисовой, посвященных архитектуре российских столиц, нашли свое законное место явления и памятники, прежде казавшиеся маргинальными. К примеру: проекты зданий с железными конструкциями перекрытий, предложенные Кваренги еще в 1806 году, и первый доходный («спекулативный») дом, специально построенный для сдачи поквартирно в аренду в 1812–1816 году на Невском проспекте по проекту Стасова в еще совершенно типичных для архитектуры тех лет дворцово-казарменных формах николаевской классики [6, с. 56]. Это — лишь малая толика находок глав из 14-го тома ИРИ, вышедшего в 2011 году [6]. Еще более открытий содержат пока еще не опубликованные главы 15-го и 16-го томов. Так одним из главных сюжетов «Николаевского» тома стали темы трансформации пространственного восприятия в связи с появлением других скоростей и изменение принципов застройки в связи с началом социальной стратификации городской среды. В томе, посвященном эпохе Александра II, — еще интереснее: здесь эклектика перестает быть историей домов и примеров отдельного стилистического и инженерного остроумия, на первый план выходят градостроительные программы. Страшно жаль, что главы, написанные пять лет назад, до сих пор не увидели свет. Тома скоро выйдут, но автора уже не застанут.

Работа над главами «Истории русского искусства» сблизила меня с Еленой Андреевной. Еще бы: мои главы про интерьеры и предметы были рядом с архитектурой, более того, они часто пересекались «на дворцовых паркетах». Мы делили картинки и темы: если один уже про что-то применительно к центральному памятнику написал, другой должен был упираться на иное. Пререкались и сильно поддерживали друг



2. Слева направо: О. М. Фельдман, Е. А. Борисова, Т. К. Шах-Азизова, В. А. Хазанова. Традиционная встреча после капустника в доме у Л. З. Корабельниковой. 1970-е

друга. Тогда мне стало ясно, что в основе подхода Борисовой к исследованию архитектуры, при всем богатстве предложенных ею теоретических идей, лежит простой лобовой знаточеский интерес к памятнику — постройке, чертежу, историческому тексту. Такой же, как у меня, но для «прикладника» это вполне родовое. Свойство ли природы это или благоприобретенный навык одного из авторов-составителей фундаментального каталога «Памятники архитектуры Ленинграда», впервые вышедшего в 1968 году и пережившего, все утолщаясь, пять изданий? [10] Не суть. Важнее другое: такой пристальный и конкретный интерес создает эффект близкого знакомства, которое требует полного понимания. Отсюда проистекают вопросы. Ответом на них становятся идеи, позволяющие понять, как именно этот чудо-юдо-памятник мог появиться.

То есть концептуальные находки при таком подходе — не плод обобщения и суммирования примеров, а наоборот — ответ на очень конкретный вопрос применительно к совершенно конкретному сюжету.

Вероятно, здесь и есть корень того ощущения родовой близости, о котором я писала вначале. И хочу опять вернуться к этой теме. Ведь помимо масштабных профессиональных заслуг, искусствоведческого таланта, текстов, вспоминая Елену Андреевну, я ощущаю большее. Что-то вроде «стайной связи» внутри безбрежного поля истории искусств и людей, которые ею занимаются. Большое счастье это чувство обрести. Большая надежда — его сохранить.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Борисова Е. А.* Русская архитектура второй половины XIX в. М.: Наука, 1979.
2. *Борисова Е. А.* Архитектура в творчестве художников Абрамцевского кружка. У истоков «неорусского стиля» // Художественные процессы в русской культуре второй половины XIX века / Отв. ред. Г. Ю. Стернин. М.: Наука, 1984.
3. *Борисова Е. А.* Русская архитектурная графика XIX в. М.: Наука, 1993.
4. *Борисова Е. А.* Стилиевые поиски в творчестве архитектора В. А. Гартмана // Архитектурное наследство. 1995. Вып. 38. С. 149-162.
5. *Борисова Е. А.* Русская архитектура в эпоху романтизма. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997.
6. *Борисова Е. А.* Архитектура Петербурга. Архитектура Москвы // История русского искусства в 22 т. Т. 14. Искусство первой трети XIX века. М.: Государственный институт искусствознания; Северный паломник, 2011. С. 22-135.
7. *Борисова Е. А., Каждан Т. П.* Русская архитектура конца XIX — начала XX вв. М.: Наука, 1971.
8. *Борисова Е. А., Стернин Г. Ю.* Русский модерн. М.: Советский художник, 1990.
9. *Борисова Е. А., Стернин Г. Ю.* Русский неоклассицизм. М.: Галарт, 2002.
10. *Петров А. Н., Борисова Е. А., Науменко А. П., Повелихина А. В.* Памятники архитектуры Ленинграда. Л.: Издательство литературы по строительству, 1968; 5-е изд. — Л.: Стойиздат, 1976.

МАРИНА СВИДЕРСКАЯ.

ДЕВУШКА НА МОСТУ. ПАМЯТИ Е. А. БОРИСОВОЙ

В 1962 году я поступила в аспирантуру Института истории искусств АН СССР. Теперь это ГИИ (Государственный институт искусствознания), где я работаю до сих пор, и, соответственно, с Еленой Андреевной Борисовой, которая оказалась в нем раньше меня, мы были сослуживцами вплоть до ее кончины, на протяжении 58 лет. Трудились мы в разных секторах: Леля Борисова, как ее называли в институтском обиходе, в Секторе русского искусства, я — в Секторе классического искусства Запада. Опыта совместной научной деятельности — участия в коллективных изданиях, практики общения в межсекторных группах, членства в Ученых Советах и проч. — у нас не было. И вполне возможно, что на нашу долю досталась бы только та форма беглых «пересечений», знакомств «в одно касание», которая остается уделом многих научных учреждений, где сотрудники видят всех членов коллектива только на общих собраниях или праздничных вечерах. Но у нас сложилось по-другому.

Оказавшись в своем секторе единственной аспиранткой в окружении более десятка докторов наук с известными именами, в два, а то и в три раза старше меня, я на первых порах льнула к друзьям-аспирантам разных специальностей. Но вскоре обнаружила близких людей в Секторе русского искусства: Лидию Владимировну Андрееву, руководившую кружком по изучению древнерусского искусства на моем первом курсе истфака МГУ, на кафедре истории искусств, позднее — возглавлявшей нашу студенческую практику во Владимире и Суздале и ставшую для меня со временем близким другом; другим родным лицом стал для меня Глеб Геннадиевич Пospelов, будучи аспирантом, замещавший А. А. Федорова-Давыдова в периоды его отлучек и на занятиях нашей группы читавший лекции по русскому искусству XVIII века, а к моменту моего появления в институте уже ставший мужем моей соученицы по университету и подруги Маши Реформатской. Благодаря этим обстоятельствам я житейски и душевно, в череде учрежденческих будней, «прислонилась» к русскому сектору. Меня звали к себе и привечали просто так, поговорить, обсудить текущие события, которых в неординарной судьбе института, да и всей страны, тогда было много — что называется, не соскучишься, и, конечно, приглашали к коллективным застольям по поводу местных праздников — дней рождения, защит, выхода книг и проч. Люди в русском



3. Елена Андреевна Борисова. 1960-е

секторе работали замечательные, близкие друг другу по возрасту, в основном ровесники, с общей студенческой памятью, и рядом с ними я погружалась в атмосферу окружавшего их товарищества, духовного родства, общности профессиональных интересов и привлекавшей меня интеллектуальной культуры. Нас разделяли 8–10 лет, поэтому в отношении ко мне, всегда уважительном и корректном, непроизвольно проявлялась с их стороны интонация приветливости, теплоты и ласки, свойственной обращению старших к младшим. И в лучах этого согревавшего меня тепла постепенно сложилось так, что за общим столом я все чаще оказывалась рядом с Лелей, и на общеинститутских собраниях также — и чем дальше, тем чаще.

Институтская жизнь подарила нам обеим еще одну сферу общения, исподволь взрастившую нашу близость. Это были знаменитые капустники на Козицком — вдохновенные и, безусловно, счастливые мгновения для их участников и столь же несомненно знаменательные в истории всего института. Литературно-драматическую основу («пьесу») наших любительских спектаклей на злободневные темы обеспечивал Константин Лазаревич (Костя) Рудницкий, иногда ему принадлежали тексты и некоторых вокальных номеров, в роли песенника выступал подчас также Юра Ханютин, кое-что для своих сольных выступлений придумывала я, но признанным поэтом капустника была Леля.

Сценическое зрелище, которое мы представляли «общественности» института в день икс — 31 января, после сдачи плановых работ, — коллегами-театроведами, критиками по роду деятельности, оценивалось как почти профессиональное по качеству. Смех и одобрение зала, дружные аплодисменты сопровождали этот миг переживаемого исполнителями коллективного торжества. Но не меньшее удовольствие доставлял нам подготовительный процесс, наши репетиции и предвкушение будущего результата, выливавшиеся также в своего рода действие, атмосфера которого навсегда сохранилась в памяти всех участников.

В зеленом (выставочном) зале особняка на Козицком уже сооружена сцена, на которой, без всякого почтения к ее священному пространству, то и дело толпится народ: и те, кто занят в повторяемом отрывке, и те, кто рвется донести до мира свои ремарки. У рояля царит Людмила Зиновьевна (Милочка) Корабельникова, по памяти тут же воспроизводит любую требуемую мелодию, советует, мгновенно находит нужную для исполнителя тональность, заряжает всех своим неистощимым темпераментом. Порхает тут и там, легкая, гибкая, как тростинка, Татьяна

Константиновна (Танечка) Шах-Азизова, «действующее лицо» пьесы и одновременно душа всего предприятия, изыскивающая исполнителей из числа аспирантов, лаборантов, мнс и снс, главная по реквизиту и костюмам — настоящим театральным, добываемым через имеющиеся связи, и домашним, самодельным, когда в ход идет содержимое бабушкиных сундуков. В укромных уголках, как и она, занятые в спектакле, выступают вместе с тем и в другом жанре институтские художники, Владимир Иванович (Володя) Плужников и Анатолий Ильич (Толя) Мазаев. Притулившись на столах, а то и на полу, на листах оберточной бумаги, они пишут забавные лозунги, сентенции, рисуют эмблемы, красочные шаржи. Надо всеми царит режиссер, булгаковский Иван Палыч — незабвенный Олег Максимович (Олежка, как его звала Леля) Фельдман, воплощенное терпение, такт и любовь ко всем нам, а вокруг море эмоций, взрывы смеха, восторга, досады, раздражения, ревности, укоризны (Алик Вартанов опять не выучил роль! Леня Козлов не хочет танцевать, жалуется, что ноги одеревенели от сидения за столом, но наш балетмейстер, Наталия Евгеньевна Шереметьевская, кажется, была способна научить танцевать даже книжный шкаф).

Репетировали, когда было время, удобное для участников, иногда персонально с пианистом, бывало с утра, а то и вечером допоздна, с разрешения дирекции. Но прогон был всегда по воскресеньям в расчете на целый день работы. Приезжал главный судья — «папа» Александр Абрамович Аникст, «артисты» приходили с женами и мужьями, хотя правила это запрещали, иногда с детьми, которых не с кем было оставить. Трапезу в обычные дни, как правило, обеспечивали сами, приносили домашнюю еду или кормились вскладчину. Но в великий канун председатель месткома, Лариса Павловна Солнцева, лично обеспечивала «условия труда»: на профсоюзные деньги из соседнего Елисеева приносили большие пакеты с пирожками, на которые взрослые люди набрасывались, как младшие отряды пионерлагеря на компот. По окончании прогона все ждали приговора, сгрудившись вокруг театрального гуру, авторитет которого основывался не только на его опыте ученого-театроведа (специалиста по Шекспиру!), но и на его способности «в случае чего» взять ответственность за наши идеологические вольности на себя. «Папа», никогда не вмешивавшийся в разыгрываемое нами сценическое действие со своими указаниями, молча и терпеливо созерцавший его, откашлявшись, произносил свой итоговый вывод: «Хорошо, но грязно». Это означало одобрение и необходимость доработки: не забывать текст,

не пропускать реплики, не запаздывать с началом очередного номера, соблюдать мизансцены, не суетиться и проч.

Леля в описанной выше, несколько безумной сутолоке репетиций, всегда смотрела наши сценические опусы из зала, с позиции зрителя. Она к этому времени уже отдала написанные ею стихотворные куски режиссеру, иногда по ходу действия возникала необходимость что-то переделать, дописать. Она спокойно соглашалась. Как-то мы с Толей Мазаевым — архитектором по образованию, но ставшим философом и работавшим в Секторе эстетики, написавшим замечательную книгу о государственных праздниках молодой советской республики 1920-х годов, — рассуждали на тему, почему нам так нравятся капустники, какую потребность они в нас удовлетворяют, и пришли к выводу: самую главную, субстанциальную — потребность свободы, самораскрытия в процессе непосредственного художественного — значит, не утилитарного — творчества. Историки искусства — это в большинстве своем несостоявшиеся актеры, музыканты, художники. Они реализуют имеющуюся у них творчески-эстетическую потенцию опосредованно, через погружение в жизнь искусства, в постижение его природы, его форм, его исторических судеб. То есть переведя свой врожденный темперамент, артистизм, деятельный, созидательный инстинкт исключительно в интеллект, в работу головы и присущую ей отвлеченность. Капустник, его синтетическая природа — слово-смысл, драма-действие, музыка, пение — сольное и хоровое, — картинность (костюмы, декорации, говорящий предметный ряд, сценография и мизансценирование), танец и превыше всего его игровая природа с участием импровизации — делали его в соответствии со всеми теориями касательно природы искусства и человека недорогим, доступным средством восполнения ущербной однобокой природы «специалиста», который, по Чехову, как известно, «подобен флюсу». Восполнения до состояния той универсальности и всесторонности отношения к миру, которое утверждали мыслители Возрождения как соответствие истинной сущности человека.

Каждый из нас переживал связанное с капустником необыкновенное ощущение радостного подъема, взрыва эмоций, пробуждения всех дремавших, задавленных повседневной рутинной и однобокостью труда жизненных сил и способностей, все были готовы действовать, разнообразно и раскованно проявлять себя — петь, плясать, читать стихи, дурачиться, лицедействовать, примерять на себя иной, чужой облик, быть самим собой, а значит, быть многим, таким и другим, играть...

В этой стихии, где мы все были равны и одинаково воодушевлены, в Леле особенно отчетливо выступало то, что я почувствовала давно, но не могла для себя определить. Мы были все вместе, а она — с нами и одна. Эта ее обособленность, особость ощущалась, при том что она близко дружила с Милой Корабельниковой и Олегом Фельдманом, несомненно, любила капустники, охотно принимала в них участие и как наш поэт, и еще той особой формой духовной сопричастности, сопереживания, которая носит внутренний характер, чуждается открытого внешнего проявления, но живет незримо, в глубине. Эту своеобразную «закрытость», составлявшую отличительную черту облика Лели при всей ее способности дружить, а дружбы не бывает без искренности и доверительности в отношениях, я сначала связывала — и не без основания — с условиями ее реального бытия: многие из нас были еще достаточно свободны по своим жизненным обстоятельствам, холостые и незамужние, или недавно женатые, но еще бездетные, а Леле ее семейное положение уже не позволяло отдаваться игровой стихии по-нашему безоглядно. Помню, как-то мы после работы в солнечный день шли с ней и Глебом Поспеловым по Кузнецкому, настроение было ноншалантное, нам по-дружески, непринужденно, было хорошо вместе, хотелось, чтобы это состояние продлилось, но Леля заторопилась домой. Мы с Глебом пытались ее удержать, но она сказала: «Нет, пора, у Тяпочки (дочки Танечки) уже, наверное, мокрые штанишки».

Но было что-то еще, отнюдь не связанное с семейными заботами, что создавало вокруг нее какую-то особую ауру чуть отрешенного спокойствия, сдержанности, достоинства. Она не позволяла себе бурно, запальчиво что-то обсуждать, я никогда не слышала, чтобы она повышала голос или раскатисто хохотала — смеялась обычно негромко, как-то внутри себя, я слышала такой смех у моей бабушки, в прошлом барышни-институтки. Одевалась в темное, неброское, любила английский строгий стиль и синие, глуховатые тона. Невозможно было представить ее в платье-размахайке, с оборками и воланами (на капустниках, правда, ее праздничные платья приобретали особую звучную, глубокую, сапфировую синеву с мерцающим блеском, а однажды я видела ее с радостью и восхищением в строгого фасона, но замечательно красивом платье, где густо-синие и голубые пятна крупного узора располагались на изысканном серо-бежевом фоне). Все это сочеталось с естественным ощущением значительности общего масштаба личности.

И однажды я поняла, что отделяло ее от нас, делало особой и обособленной, — Леля была петербурженкой по рождению и культуре. У меня есть родственники в Северной столице, мне знаком этот стиль, абсолютно чуждый чопорности и сухости, непринужденный, живой, но принятыми правилами простой воспитанности приученный держать дистанцию, соблюдать такт и не переходить черту. Удивительной была складка губ у Лели, на них словно задержалась, не торопясь исчезнуть, чуть рассеянная полуулыбка, приветливая к собеседнику или другу, к чужим — светски вежливая, и часто задумчивая, интровертная, обращенная к своим собственным мыслям. Большие, широко расставленные серо-голубые глаза под высокими бровями, делавшие ее красавицей, всегда широко распахнутые, словно чуть удивленные, были полны света и вызывали у меня в памяти строчку из «Равенны» Блока, стихотворения из его итальянского цикла: «И в медленном и тихом взоре/Равеннских девушек порой/Тоска о невозвратном море/Проходит робкой чередой». В Равенне море отступило, откуда и тоска. У Лели была, скорее, не тоска, а память об оставленном ею в родном городе чувстве близости моря — о «петергофской волне», льнувшей к ногам, — о море, северный цвет и свет которого запечатлелся в ее глазах, а соленый вкус морского ветра — на ее губах.

Моя догадка неожиданно получила яркое подтверждение. В 2013 году Леля подарила мне книжечку своих стихов¹ с трогательной надписью: «Милой, родной Маришечке (так она меня всегда называла) от скрытного автора. С любовью. Лелька». Ранние стихи взволновали необычайно верно переданным в них и столь внятным для меня ожиданием любви девушки, вступившей в пору юности, мечтательной («задумчивость — ее подруга»), как пушкинская Татьяна. Ее душа так же «ждет кого-нибудь» и изливает свою грусть и робость в диалоге со своим любимым городом, ее постоянным собеседником. Ему она доверяет терзающую ее боль мучительного недовольства собой, своей внешностью. Странно было узнать, как Леля, с ее статью античной богини периода высокой классики — Афины, Артемиды, Геры, — с хорошим ростом, прекрасной осанкой, крупными формами рук и ног периода господства героического идеала не только в мужских, но и в женских образах (до позднеклассического праксителевского перелома, принесшего с собой вытянутость пропорций, женственное изящество

1 Борисова Е. Синий мост. М., 2013.

и чувственность образов не только Афродиты, но и Гермеса), — что она, наша Леля, страдает от застенчивости и мучается ощущением собственной нескладности, громоздкости:

*Шагаю я вперед, и яркий свет ловлю.
И сторонюсь, когда машина мчится.
Я больше света сумерки люблю,
Лишь вечером могу свободно распрямиться.*

*Не думая о том, кто смотрит на меня,
Бросаю всех застенчивых уловки.
Я вечером живу, а вот при свете дня
Я делаюсь опять прищуренно-неловкой.
(1944).*

Душа, полная потребности любить, ожидания любви, томится и зовет:

*Хочу, чтоб кто-то скорее понял,
Что мне, чтоб спрятать лицо усталое,
Ужасно нужны две большие ладони
И пальцы с выпуклыми суставами.*

*Что мне, когда в морозный вечер,
Врываюсь в комнату, вся дрожа,
Никто не накидывает на плечи
Широкий, теплый, большой пиджак.*

*Что мне не нужно романсов нежных,
Что я простые ищу слова,
Что можно счастливым быть, небрежно
Сказав кондуктору: «Дайте два».*

Это так пронзительно, что наворачиваются слезы.

Город, друг и наперсник, дарит ей свою охранительную поддержку, откликаясь на ее зов весенними дождями, блеском «будто вымытого» асфальта, «светом линий от фар», отражениями вечерних огней в лужах. Или привычной для него непогодой, которая «словно капризная жен-

щина./С утра до вечера билась в рыданиях», и, пытаюсь ее успокоить, между деревьев мечется ветер, «Шляпу придерживая рукою».

В стихотворении, помеченном 1943 годом, автор вспоминает отъезд из города своего детства, еще сохраняющего свою доблокадную красоту, но уже с приметами будущей трагедии. Уже уложены все вещи и длится ожидание — час расставания, последний «счастливый и спокойный»:

*Я у холодного подножия колонны
Сидела и смотрела на Сенат,
На памятник Петру, укутанный попоной,
Как был тогда прекрасен Ленинград!*

*Как люди при прощанье и при встрече
Друг другу кажутся и лучше, и нужней,
Так Ленинград в последний этот вечер
Необычайным показался мне.*

Связь с городом становится еще глубже, еще интимнее, когда здесь является он. Не красавец, с «тяжелой поступью», «с солидным жизненным опытом», но «в этой холодной надменной глыбе» ей видится душа, и какая она, эта душа, «говорят по-прежнему тонкие пальцы/И внезапность редких родных улыбок». Однако главное его достоинство — ум, и потому рождение и созревание любви происходит в непрерывно длящемся диалоге, в телефонных беседах, в сопребывании «в зале Пикассо,/В третьем низеньком этаже» Эрмитажа (кто же не знает этот зал!), в парках, где происходит «разговор вечерний, мыслей не тая», и «скользят в аллеях медленные тени,/Две живые тени, и одна из них — моя». Наутро, при свете дня, вновь накатывает робость, неуверенность в том, «Что коснулась сердца свежая весна./Словно вновь закрылись кованые двери,/И опять осталась в комнате одна...». Томит «бесконечный день с ненужными друзьями» и сверхважен раздающийся в вечеру негромкий звонок, вслед за которым «И опять мосты склонились перед нами,/И прозрачный город укачал меня»:

*Пусть за все расплату мне пророчат вскоре,
Стала жизнь прекрасна, стала жизнь легка,
И не представляю безысходней горя,
Чем не ждать под вечер тихого звонка.*

Но «уже понимала,/Что кончится все бедой,/И в душе мосты поднимала,/Рвы заполняла водой». Ожидаемая катастрофа разразилась. Виноваты, как всегда, оба. Он, по-видимому, как это нередко бывает, не сумел достойно понять и принять всю огромность и идеальную высоту обращенного к нему чувства, и она это поняла: «Я почему-то не плачу,/Хоть за весенний улов/Я получила сдачу/Мелочью горьких слов.../Только по всем кварталам/И вдоль петергофских рощ/Бродит и плачет устало/Все понимающий дождь». На ее «утомленные плечи/Налегла ленинградская мгла», она еще готова нести эту ношу до предстоящей встречи ради того, что во дворе дома, где жила, все еще «загорается пара окон — /Слабый отсвет сияющих глаз». Но все более ясно осознает, что настоящее уходит и становится прошлым, превращается в гриновское «несбывшееся», которое будет звать всю жизнь: «Грустно, что счастье было непрочным,/Не тем, что годами прошено,/Но голову вдоволь себе заморочив — /Хочу для Вас хорошего» — вот она, убийственная рефлексия умной женщины: не то, не так, не он, вместо того, чтобы очертя голову ринуться в неизвестное, в пропасть. Но так и рождается жизненная мудрость, которая побуждает быть совестливой и благодарной:

*За то, что сумел отличить от прочих,
И звал до конца Алешю,
Утром и вечером, днем и ночью —
Хочу для Вас хорошего.*

Признает за собой вину: «Мы так стремительно расстались с Вами,/Но я тогда иначе не могла — /Так человек затаптывает пламя,/Когда ему грозит сгореть дотла». Испугалась, струсилась своей еще нетронутой девичьей душой, не научившейся доверять жизни и себе. Но боль не уходит, и она заговаривает ее и себя:

*Я видеть Вас
не хочу —
Ведь вместе нам —
Не судьба идти...
Я только хочу
Чуть-чуть
Взглянуть,
Как Вы улыбаетесь.*

Ставит себе в заслугу то, «что другие ошиблись в Вас — /И лишь я оказалась права», оценив его по достоинству, поняв его, истинного. Сама себя утешает, бодрится и оправдывается:

*Могу не взглядывать чаще
На окна верхнего этажа,
Могу не касаться ящика,
Где остывшие письма лежат.*

*Но очень трудно не помнить,
Чем кончился смутный год,
И в теплой, далекой комнате
Кто-то чужой живет.*

Постепенно приходят силы все осознать, во всем дать себе и ему, как кажется, полновесный итоговый отчет:

*Такая на сердце свалилась беда,
И мне оказалось поверить непросто,
Что нам не придется уже никогда
Внезапно столкнуться у Синего Моста.*

*И дом в переулке, где детство прошло,
Где два заповедных окна оставила,
Теперь перестал излучать тепло,
Стал темным, пустым и необитаемым.*

*А город, в котором царит Эрмитаж,
Где кончилось все, что творилось с нами,
Уже уплывает, как остров-мираж,
В сиреновом небе мерцая огнями.*

Уплывающий вдаль город-мираж — это предвидение грядущих событий.

Но прежде и в этом городе, и в просторах особой страны, которую все носим с собой — в пространстве памяти — не оставляют воспоминания: «...одни тускнеют с годами,/Как стертые пятаки./А иные попросту пропадают — /Превращаются в черепки».

*Но полновесней монеты звонкой
Мысли о той весне.
Словно старинной чеканки червонцы —
Те, что всегда в цене.*

Та весна оказывается бесценной и незабвенной. Отсюда и «Синий Мост» — название, данное автором-героиней пережитой драмы собранию своей потаенной, скрытой ото всех, поэзии, не потешной, а серьезной и высокой, поразительной по искренности и накалу чувств, открывшей для нас Лелю Борисову не как бойкого версификатора капустника, а как настоящего поэта-лирика.

А «несбывшееся» все живет, и зов его продолжает звучать даже десять лет спустя:

*Время так быстро мчится, —
Быстрее, чем звук или свет!
Мне — уже было тридцать,
Вам — уже сорок лет.*

И она «давно ни о чем не жалеет» —

*...Но иногда будто двадцать,
Будто нет тридцати —
Хочется повстречаться
И старые счета свести!*

А то вдруг нахлынут совсем не «счета», а острое и живое, ранящее своей непосредственностью, воспоминание — внезапный прорыв из своего устоявшегося и защищенного сегодня в то, взмятенное бурей чувств, прошлое:

*А я жива и здорова,
Но Вы уже никогда не узнаете,
Как я бегала по Комарову
В сыром снегу увязая,*

*И в темноте на удачу,
Думая об одном,*

*Искала зимнюю дачу
С освещенным окном.*

*Сколько раз, стараясь не тронуть
Цифры на темном кругу,
Один на один с телефоном
Выдерживала борьбу.*

*И чтоб силуэт знакомый
Увидеть издалека,
Пыталась заглядывать в комнату
С лестницы чердака.*

*А вы проходили мимо,
В сердце тая обиду,
Внешне невозмутимо,
Не подавая виду.*

И в паузе разорванного времени возникает из глубины подавленное обстоятельствами желание-мечта:

*Изверясь, что повторится
Чудо, посланное судьбой —
Хоть на месяц, да притвориться —
Обернуться самим собой.*

Перенесенная травма питает в лирической героине, да и во всех нас, от времени до времени возрождающуюся потребность скинуть с себя, наподобие змеи, предписанную жизнью шкурку-оболочку, и стать самим собой, истинным, глубинным, потаенным. Поэтому и влекло нас всех, и Лелю тоже, к нашему общему празднику освобождения от навязанного извне или созданного самими стесняющего обличья.

А к поэту, автору стихотворных строк «Синего Моста», пришла перемена судьбы, или, как говорят наши коллеги-театроведы, перипетия. Она оставила Ленинград и переехала в Москву. Образы плачущего дождя, морозной стужи, безумного ветра сменяются картиной напоенного светом и теплом перелеска:

*Изменив застарелой привычке,
Распроставшись со злою тоскою,
Мчусь на солнечной электричке
По зеленому Подмоскovie.*

*И колеблются в море света
Красноватые шапки сосен.
Все вопросы нашли ответы,
И душа ничего не просит.*

Возмужание состоялось, жизнь сложилась, пришла радость и уверенно сберегаемая полнота чувств:

*Если счастье в края не вмещается,
Становись молчаливей и строже —
Разглашаясь, оно сокращается
Беспоощадней шагреневой кожи.*

Пришло счастье, подобное пойманной в сеть жар-птице. Получившая этот дар признается: «День и ночь я боюсь за счастье,/Я боюсь за него до слез». Боится «обронить круплицу/Того, что на сердце есть»:

*Боюсь на миг зазеваться,
Незначай шевельнуть рукой,
И даже боюсь попытаться
В душе поселить покой.*

Он пришел, не из мечты, а из жизни, во плоти и крови, большой человек, ей по росту, тот, кого Леся в разговорах со мной, с теплотой в голосе, запросто, по-домашнему, называла Петрович (за этим скрывался всем нам известный президент, теперь почетный, Союза архитекторов Юрий Петрович Гнедовский).

И она обещает:

*Покуда тянется жизни нить,
Покуда сердце сумеет биться,
Я буду тебя беречь и хранить,
Как человек, отыскавший жар-птицу.*

И приходят слова, свидетельствующие о том, что совершился великий круг жизни. Эти слова близки к тем, давним, тоскующим, но они другие, твердые, краткие, как заклинание:

*Не знаю, какими судьбами,
Разве только помру,
Расстанусь с твоими губами,
Вывусь из теплых рук.*

Возникает новая точка отсчета, жизнь, призывающая «ценить каждый вздох», «каждый взгляд, тебе мимоходом брошенный» и как продолжающееся самоубеждение — «Ведь нету пути назад/Но нет и конца хорошему». Необходимо сменить перспективу, хватит оглядываться, нужно жить и быть здесь и сейчас, прокладывая «хорошему» дорогу вперед, в бесконечную даль.

Но подстерегая, опыт прошлого и, разумеется, не только он, периодически берет реванш, делая чувства тревожнее и пугливее.

Поразительное, одно из самых исповедальных стихотворений, уже не юного, а зрелого периода, отражает — чего я при первых чтениях Лелиной книги не поняла, не различила, удивляясь, почему ничего не нахожу в ней *про это*, про новый и страшный удар, обрушившийся на нее и всю ее семью — оно выговаривает именно то, что я пыталась услышать:

*Осторожно ступаю,
Осторожно бреду,
Как по краю припая,
Как по тонкому льду.*

*Как от пули навывлет,
Осторожно дышу
И у жизни впервые
Ничего не прошу.*

*Огибаю, как заяц,
Сотни острых углов,
Словно тень ускользаю
От отравленных слов,*

*Тишину после боя
Ощущая в ушах,
Я минуты покоя
Берегу на весах.*

*Силы уж на исходе,
Но в неравной борьбе
Красной нитью проходит
Всюду мысль о судьбе.*

Это очень близкое мне, с моей не очень складной жизнью и жуткой аварией на грани жизни и смерти, состояние, когда перед лицом судьбы уже нет доверия к ней, чтобы решиться о чем-либо ее просить, а остается только вопрошать: почему и за что.

Разговор об Андрюше у нас с Лелей зашел тогда, когда у моего сына, еще трехлетнего, обнаружили наклонности естественника, хотя оба родителя были гуманитариями. Он храбро хватал руками жужулиц, волосатых страшных гусениц, и известный музыковед, Валентина Джозефовна Конен, коллега и друг, «живой классик», как называл ее А. А. Аникст, сказала мне, что это верный признак того, что он, как и ее собственная племянница, прирожденный биолог. Жизнь потом это подтвердила, и все годы детства и отрочества моего сына я провела среди аквариумов с рыбами, суматранскими квакшами, черепаками и ужами, клеток с птицами, хомячками, черными и белыми мышками, едва дотянув до времени, когда при условии освобождения от всего этого мы, наконец, завели собаку. Леля рассказала, что у ее сына те же наклонности. Про недуг Андрюши я узнала случайно, по-моему, от Глеба, ничего конкретного, но и едва внятного намека мне было достаточно. В двадцать пять лет, на пике радости жизни и предчувствия счастья, судьба наградила меня встречей с человеком замечательного ума и богатых знаний, щедро дарившего их мне в длительных беседах и прогулках, но неизлечимо больного душевной болезнью, попытка разобраться в которой потребовала от меня погружения в специальную литературу и семи лет отчаяния в попытках примириться с несправедливостью судьбы и усилиях как-то собрать себя для дальнейшей жизни.

Этот опыт помог мне понять всю глубину и безысходность муки, переживаемой родителями детей, затронутых этой бедой, в близких мне семьях Е. И. Ротенберга и И. А. Антоновой, Е. Л. Фейнберга и В. Д. Конен,

Ю. Н. Попова и О. С. Поповой. Может быть, инстинктивно почувствовав это, Леля, с которой мы никогда не говорили о ее семейной трагедии, сразу, без предисловий, словно я давно и подробно, как ее подруги, была во все посвящена, могла, придя в институт с темными кругами под глазами, поделиться со мной известием, что Андрюша опять испытывает ее, отказываясь есть. В процитированном выше стихотворении для понимающего человека каждое слово значимо: проступают все особенности болезни, жизнь с которой годами и десятилетиями для близких, особенно для матери, тяжелее, чем уход за лежащим. Потому что каждый день — это «хождение по тонкому льду», поиск контакта и линии общения заново, в состоянии оглушенности (пуля навывлет) непреходящим сознанием огромности, неизбежности и жестокости обрушившейся на родное существо незаслуженной кары, выработка навыка обходить «острые углы», дабы не поранить еще больше, уметь защититься от «злых слов» — диагнозов врачей, всегда пугающих, и советов сторонних радетелей, урывками находить мгновение для отдыха и т. п...

Так стала ведома мне основная тайна Лели, ее подвига, ее неравной борьбы, отнимающей силы, и ее попыток устоять, спасти в себе чувство жизни, и не только в наших утешительных играх, а главным образом, через сопричастность жизни дочери и ее семьи: обстоятельствам их жизни в Германии, успехам зятя-физика Леши, исследованиям Тани касательно истории и наследия Веркбунда, посвященный которому солидный, хорошо изданный том гордая и счастливая мать успела поддержать в руках, и конечно — рождению, детству и взрослению внуков, а на исходе жизни — и правнука.

После моего перехода на полставки в Институте и ухода на работу в МГУ мы виделись с Лелей не часто, но у нас сложился своеобразный, лишь нам необходимый и нами знаемый ритуал: на памятных сборищах в четвертой комнате или на общих собраниях Института в зеленом зале, мы, сидя рядом, доставали конверты с фотографиями и погружались в мир нам обоим так внятных радостей ни с чем не сравнимой привязанности, нежности к маленьким существам, ее и моим внукам, дававшим нам чувство душевного отдохновения и примирения с жизнью, скрасившим также в свой черед жизнь своего дяди Андрюши перед его уходом.

В книге «Синий Мост», в ее завершающей части, есть и другие темы, помимо затронутых мною. Из них мне кажется важным возвращение автора время от времени к образу родного города. Эта тема, если так

можно выразиться, для поэзии Лели Борисовой субстанциальна, и объяснение этому содержится в ее поэтическом сборнике:

*Наверно уютно бродить переулками,
Когда у обоих пристанища нет,
Наверно, Москва не беднее прогулками,
Когда тебе двадцать и около лет.*

*Но мною другие дорожки проторены,
Хоть вряд ли на них сохранились следы,
Мне все же привычней на невском просторе,
Где ветер свежее и запах воды,*

*И тихие площади свежеполиты,
И в лужах дрожат, отражаясь, огни,
И гулко шаги отдаются на плитах,
И в городе вы остаетесь одни.*

*И только у редких подъездов — влюбленные,
Безлюдные улицы, призрачный свет,
И в белых передниках дворники сонные, —
«Немые свидетели наших побед».*

Ирония последней строки — это усмешка не по адресу города, а по отношению к себе, слишком явно проговорившейся о сокровенном — о том, что родной город — это единственная вполне адекватная среда для экзистенциального одиночества, составлявшего главную черту личности Елены Андреевны Борисовой.

Жизнь складывалась так, что «Возможность поехать в Ленинград/Становится равносильной чуду./Как возможность вернуться в прошлое,/Повернуть время, остановить его./Всем живущим в городе,/Это чудо недоступно,/И я хожу среди них, как космонавт,/Вернувшийся с другой планеты»:

*Блуждаю, как иностранка,
Вернувшись на невские плиты.
В известное мне пространство
Незнакомое время влито.*

И вопреки этому город предстает «Сохранившим в чистоте и свежести/Все молодые впечатления...». Закономерно, что переживание очередной встречи с ним полно непосредственности живого отклика:

*Программа как-будто выполнена:
За окном подковы процокали.
Удалось постоять у Невы
И на Мойке под старым тополем.*

*И даже, скользя меж людьми
В теплом солнце у входа в «Асторию»,
Удалось на какой-то миг
Вспять вернуть колесо истории.*

*Словно лодка вернулась в гавань,
Замерев у родного причала.
Только я теперь это плаванье
Не хотела б начать сначала.*

И жизнь дарит утешение, тихую радость, скрепляющую навсегда родство поэтической одинокой души и города, снова через жизнь младшего поколения:

*Дружно взявшись за руки,
По пустынной Дворцовой
Шествуют мои внуки
Вдоль квадратов торцовых.*

*Это ужасно странно,
Не могло и присниться —
В ленинградском пространстве
Снова моя частица.*

Поздние мысли Лели, как и у всех людей, и у меня теперь тоже, достигших возраста, называемого преклонным, лишь отчасти заняты судьбами окружающего мира, но больше обращены на себя. Эти финальные акты самосознания направлены на свое поэтическое творчество, где автор собеседует с Цветаевой:

Пусть талантом огромней
Поэт, а не поэтесса,
И все-таки я ей ровня,
Из одного мы теста.

Счастье в бою оставив,
Гордость добывши с бою,
Она проходила над Влтавой,
Как я прохожу над Невою.

Прямо перед собою
Сухими глядя глазами,
Сердце зажав рукою,
Чтоб не истечь слезами —

Вот так, не сгибая спину,
Вот так, большими шагами,
Марина, Марина, Марина,
Как ты мне помогаешь!

Ступаю, куда угодно,
Себе поверить не смея,
Свобода, свобода, свобода —
Мне нечего делать с нею.

Здесь автор поднимается до духовного титанизма, до той героической меры, заложенной в ее стати самой природой, о которой говорилось выше. Уходят робость, застенчивость, подавленность жизнью, приходит свобода, и напрасно присутствующее здесь, исполненное горечи, стремление ее обесценить. Не было возможности реализовать ее в поэтической сфере, но это был выбор самого поэта, пожелавшего остаться скрытым. Однако вполне удалось — и это отрицать невозможно, — творчески осуществиться в другой области.

Этот сегмент своего бытия Леля тоже склонна оценивать критически:

Всю жизнь «заедали комплексы».
Да и начала не рано.

И вдруг к сорока опомнилась,
Принялась работать «сверх плана».

И даже непобедимость
Вдруг в себе обнаружила.
Как жаль, что необходимо
Вскоре сложить оружие.

Размышлять о том, что «Теперь все быстрее время бежит/Растояния — все короче./И все дороже мы ценим жизнь,/Которая — все непрочней» — для немолодого человека нормально. А что касается обнаруженной в себе «непобедимости» и необходимости «сложить оружие», то тут есть что сказать. Когда-то мне довелось услышать от Ирины Александровны Антоновой, что, узнав о болезни сына, она сказала себе, что не позволит судьбе отнять у нее жизнь, зачеркнуть ее. Не знаю, говорила ли Леля кому-либо или себе самой что-то похожее, но нечто подобное доктор искусствоведения Елена Андреевна Борисова, член корреспондент РААСН и лауреат Государственной премии, признанный авторитет в своей области, совершила. Смогла, подобно шекспировскому герою, «с оружием встать на море бед». С вдруг обнаруженной, воспитанной жизнью, «непобедимостью», она все-таки одолела эти беды, трудом, творчеством их превозмогла.

Результат говорит сам за себя. Об этом лучше и больше знают прямые коллеги по материалу исследования. Но и я, западник, со своей стороны скажу, что в период работы над статьей «История, историческое, “историзм” в культуре XIX столетия» для каталога выставки в ГМИИ «Лики истории в европейском искусстве XIX века» (2009) я сделала конспект — по-ученически подробный, рукописный — книги Елены Андреевны «Русская архитектура эпохи романтизма» (1997). С тех пор этот труд неизменно занимает место в списке обязательной литературы моих учеников, культурологов и философов, по кафедре истории и теории мировой культуры философского факультета МГУ, где я преподаю уже 25 лет.

Однако, признавая и принимая все сделанное, как дар большого ученого, оставленный нам, не мешает вспомнить о цене, заплаченной Е. А. Борисовой за ее замечательные книги и статьи:

Мне так не хотелось падать с небес.
Я так цеплялась упрямо,

*Но жизнь, из всех разновидностей пьес
Все больше походит на драму.*

*И мне все страшнее играть спектакль,
Не зная последнего акта,
И роль я веду не туда и не так,
Чтоб только вытянуть как-то,*

*Чтоб только как-то себя спасти
От невыносимой боли...
Нельзя было уходить с «травести»
И браться за женские роли.*

До конца в Леле оставалось что-то юное, почти детское, чуть наивное и девически нежное, ранимое. А жизнь требовала мужества и отваги, и она победила. Ее город помогал ей в этом:

*Хотя мое не здесь настоящее.
Хоть я все добровольно оставила,
Но сердце до боли в груди щемящее
Каждый раз нарушает правила.*

*Я не борюсь с этой радостной болью,
Только все чаще приходит в голову —
Может быть все, что мнилось любовью,
Было просто любовью к городу.*

Лелечка, прости, если что не так поняла и не так сказала. Люблю тебя и помню.

Твоя Марина.

**ТАТЬЯНА ГНЕДОВСКАЯ.
МОЯ МАМА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА БОРИСОВА**

Мама родилась в 1928 году. Ее папа Андрей Яковлевич Борисов происходил из крестьян-староверов, но уже его отец был школьным учителем, страстным книголюбом и революционером, мать — фельдшерницей и тоже революционеркой. Семейная легенда гласит, что прабабушка предпочла революционера Борисова революционеру Калинину потому, что будущему «всесоюзному старосте» сатрапы царизма дали меньший срок ссылки. Так или иначе, брак, замешанный на идейных дрожжах, был недолгим и неблагоприятным, так что большую часть своего детства-отрочества Андрей Борисов прожил с матерью и семьей ее родителей в Вильно. Здесь он заодно с другом-евреем стал заниматься ивритом и блестяще освоил его. На этом языке старшеклассник Андрей Борисов позднее написал известному востоковеду-сеMITологу П. К. Коковцову письмо, в котором просил взять его в ученики, что Коковцов, немало изумившись, и сделал. Впоследствии Андрей Яковлевич Борисов стал крупным ученым, сотрудником Института Востоковедения и Эрмитажа.

Выдающиеся научные успехи, разносторонняя одаренность, редкий артистизм, музыкальность и просто обаяние не помешали родственникам жены Борисова, маминой мамы, Елены Викторовны Талановой, считать ее брак мезальянсом. Борисов был застенчив, как подросток, носил поддевку, играл на балалайке и был на шесть лет моложе своей жены. Моя мама пишет в своих воспоминаниях¹: «...считалось, что он, если и не неудачник, то недостаточно удачлив, неумелый, непрактичный, отвлеченный. Серафима Бирман изображала мне позже в лицах, со всем своим талантом и темпераментом, каким она впервые увидела его на большом семейном обеде в Новом переулке. Он сидел на своем обычном месте, в торце огромного овального стола, и давился, не мог проглотить кусок, уверяла она. И показывала, как именно. Может быть, это было режиссерски и актерски преувеличено, но что-то она уловила правильно». Актриса Серафима Бирман была женой старшего маминного дяди, журналиста, редактора, светского льва и писаного красавца Александра Таланова.

¹ Домашний архив.



4. Елена Андреевна Борисова
с дочкой Таней. 1978

Особо высоким происхождением Талановы, впрочем, тоже похвастаться не могли, но все-таки их предками были не крестьяне, а купцы, причем вполне состоятельные. Мамин дед Виктор Викторович Таланов под нажимом свободолюбивой невесты Евгении Гавриловны Питерской (маминой любимой «бабуси») отказался от немаленького наследства, доставшегося ему от отца, коммерческого директора нижегородского пароходства «Кавказ и Меркурий». Возможно, впрочем, этот широкий жест облегчил жизнь семье после прихода советской власти, когда В. В. Таланов, получив образование в Польше, стал известным агрономом и селекционером, а в 1932 году был избран членком Академии наук. Собственно, та квартира в Новом переулке (теперь пер. Антоненко) в Ленинграде, где мама выросла и где при самом горячем участии родственников развалился брак ее родителей, была служебной. Она соседствовала с Всесоюзным институтом растениеводства, директором которого был Н. И. Вавилов, а его заместителем — прадед. Квартира сохранилась за семьей и после того, как сам Виктор Викторович Таланов после трех арестов и ссылки умер совершенно сломленным в 1936 году. Из коллег на его похороны решился прийти только Н. И. Вавилов.

Мамины родители разъехались в 1939 году, но после начала блокады снова съехались в Новом переулке и сюда же А. Я. Борисов перевез умирать сначала свою мать, потом отца. Со своей бабушкой Анной Флоровной моя мама до этого общалась и даже переняла у нее многие рукодельные навыки, а вот с дедушкой познакомилась непосредственно перед его смертью. В свою очередь талановская половина маминой семьи сумела эвакуироваться из Ленинграда раньше: бабуся, мамину тетю Лину и дядю Леву, брат Серафимы Бирман чудом вывез на военном грузовике в самом начале 1942 года. В последний момент он предложил взять также и маму, но она отказалась — не хотела бросать родителей и потому провела еще одну страшную голодную зиму в Ленинграде. Только через полгода в июне 1942 года Эрмитаж помог их семье с эвакуацией.

Выехав из Ленинграда, мама с моей бабушкой направились на Волгу под село Варнавино, где их ждали ранее уехавшие Талановы. Мама вспоминает: «Деревня Карасиха стояла высоко на обрыве над Ветлугой. Когда мы первый раз вошли в избу, где уже полгода жили бабуся с тетей Линой, меня поразила больше всего корзинка, где лежало несколько десятков яиц. После блокады это было совершенно нереальным».

Дед Борисов, не желавший снова воссоединиться с семьей жены, поехал в Ташкент по вызову Узбекстанского филиала Академии наук.

Мама потом всю жизнь казнила себе за то, что не смогла помешать этому разъезду, поскольку он умер в поезде по дороге. «Во время панической посадки на пароход мы наскоро простились, поцеловались и расстались. Я была сердита на него, вернее, на них обоих за очередную ссору, атмосферу которой я чувствовала в пути, но ничего не могла поделать. Мне хотелось только, чтобы все это скорее кончилось, я больше не могла. Если бы я знала, чем это кончится, и если бы самое страшное не казалось уже позади, я бы уцепилась за него и не отпустила. Но я не знала». Едва ли не последним собеседником деда в этом злосчастном поезде, как позднее выяснилось из мемуаров, был Д. С. Лихачев.

Наблюдая перипетии жизни своей большой и довольно неблагополучной семьи, мама вполне осознанно училась не только на своих, но и на чужих ошибках, часто строя жизнь, как она говорила, «от противного». Впрочем, независимо от такого рода поведенческих стратегий, ей, видимо, изначально были свойственны редкое благородство и внутренняя сила. В заветных ящичках семейного секретера хранилась (и наверное, до сих пор хранится) шоколадная, поседевшая от времени собачка, пережившая блокаду. Мама без всякого героизма, как о курьезе, рассказывала о том, что берегла ее на совсем уж черный день, который, как ей казалось, все не наступал. Так собачка пережила блокаду, дожидая эвакуации и уехала вместе с мамой из Ленинграда. А еще, чтобы устроить праздник на Новый блокадный год, мама отрезала и откладывала маленькие кусочки хлеба от своей пайки и устроила-таки, как она выражалась, «пир горой» из этих дополнительных обрезочков. Ей было тогда 13 лет — едва ли не самый голодный возраст.

При этом в маме не было ни пионерского пыла, ни героической позы, ни даже, как мне кажется, склонности испытывать внутреннее удовлетворение от «добротного и благородного» поступка. Просто у нее было очень твердое ощущение того, как правильно, и не менее твердое желание этому ощущению следовать. Это было даже не просто нравственное, а какое-то нравственно-эстетическое чутье. В своих воспоминаниях, мама пишет, что раздражалась на своего папу, который после окончания блокадных трапез неизменно говорил: «Блаженство кончилось». Ей казалось, что он себя этим роняет. Она вообще была сверхчувствительна к слову, интонации, «тональности», как сама она говорила, и терпеть не могла любой аффектации, рисовки, самолюбования или, наоборот, самоуничижения и «жалких слов». Даже в ее стихах — жанре самом падком до эмоциональных преувеличений — чувствуется

внутренняя аскеза и брезгливый ужас не только перед педалированием испытываемых чувств, но даже перед их обнародованием:

*Если счастье в края не вмещается,
Становись молчаливей и строже —
Разглашаясь, оно сокращается
Беспощадней шагреневой кожи.*

Вернувшись после войны в ленинградскую квартиру уже в сугубо женском составе — с овдовевшей мамой Еленой Викторовной Талановой, бабушкой Евгенией Гавриловной и одинокой тетей Линой — мама, закончившая школу с некоторым опозданием, но зато с золотой медалью, поступила в Академию художеств. Стремилась на архитектурный факультет, но не прошла и поступила на искусствоведческий, чему впоследствии безмерно радовалась. Академия стала первым источником действительно близких друзей, с частью из которых мама перезванивалась и переписывалась до последних дней. Среди них были и искусствоведы Юлия Эбин (Каган), Марк Эткин, Владимир Рогачевский, Галина Мехова, Наталья Троцкая; и архитектор Нина Васильева; и художники Александр Пастернак и Соломон Эпштейн, мой будущий свекор. Уж не знаю с чьей легкой руки в Академии художеств к маме, помимо ее привычного домашнего имени «Леля», приклеилось новое «Лешка». Так звали ее впоследствии все, кто познакомился с ней в годы совместного обучения.

Академия принесла маме много прекрасных знакомств, причем как с соучениками, так и с преподавателями, многих из которых, как например М. М. Дьяконова, она потом вспоминала всю жизнь. Однако в целом этот период жизни оставил довольно темный и мутный след в ее душе, возможно, потому, что обучение пришлось на время борьбы с «безродными космополитами», которые составляли большинство среди маминых друзей. (Замечу в скобках, что обсуждение и даже упоминание национального вопроса в любых формах у нас в семье было абсолютно табуировано.) Дома у мамы, судя по рассказам, также царил в этот период беспросветный мрак. Глава семьи «бабуся» после арестов и смерти мужа окончательно и люто возненавидела советскую власть и, видимо, вообще жизнь за окном как таковую. Нельзя сказать, что мама к этой самой власти была как-то душевно расположена (она ухитрилась даже в комсомоле не состоять), но в атмосфере мрачной

тоски и безнадежной ненависти ей жилось очень нелегко. К тому же ее мама, моя бабушка, оставшись одна, всю свою огромную любовь и энергию обратила на маму, что выразилось, в частности, в довольно бесцеремонном вмешательстве в мамину и без того не слишком бурную личную жизнь.

Этот довольно мучительный и печальный период завершился после смерти бабуши и тети Лины, когда мама и бабушка навсегда переехали в Москву. К Ленинграду-Петербургу мама сохранила нежную и сильную любовь и с некоторым даже вызовом именвала себя ленинградкой. Помню, как в ответ на истошные вопли соседки из другого подъезда, которую мы случайно залили, мама тихо и как-то нарочито внятно и раздельно произнесла: «У нас в Ленинграде так не кричат». Одновременно родной город ассоциировался у нее с болью, томлением, тревогой. Она иногда в запальчивости говорила даже, что там невозможно быть счастливым или, что, по крайней мере, она бы никогда не смогла. Для нее местом, где она стала самой собой, обрела любимую семью, друзей и работу стала «чужая» Москва.

В 1955 году, после окончания Академии и краткого периода работы по распределению в ленинградской Инспекции по охране памятников, мама поступила в аспирантуру московского Института истории искусства, позднее переименованного в Государственный институт искусствознания. Здесь ей суждено было проработать больше 60 лет. Она была последней аспиранткой основателя института И. Э. Грабаря, с которым, правда, виделась крайне редко, поскольку он был вечно занят, а она его страшно боялась (примерно, как он боялся партийного начальства и ЦК, по ее воспоминаниям). Реально вводил ее в тонкости архитектуроведческого дела Михаил Андреевич Ильин. Но, конечно, не только он, поскольку в институте в этот период собралась совершенно блестящая компания искусствоведов разных возрастов и специализаций, со многими из которых у мамы сложились очень близкие профессиональные и человеческие отношения. Среди тех, с кем она особенно дружила и о ком отзывалась с большой нежностью и уважением, были А. Аникст, О. Фельдман, К. Рудницкий, Т. Бачелис, М. Свищерская, С. Батракова, Л. Пажитнов, И. Рубанова, Б. Зингерман, Л. Корабельникова. А «на секторе» с ней бок о бок работали любимые Г. Поспелов, Т. Каждан, В. Хазанова, многолетний соавтор Г. Стернин и др. Институт всегда оставался для нее отдушиной и «местом силы». Здесь ее не только любили, но уважали как профессионала, и здесь к ней прислушивались — чего

не скажешь о семейном и дружеском круге, где в ходу была фраза: «Лелька, не трясите эрудицией!»

Кстати, эрудицией мама никогда не трясла не только в силу того, что не любила, когда ею попусту трясут, но и потому, что совершенно не обладала «лишними знаниями». Как она сама несколько обескуражено признавалась, в ее голове удерживались только те сведения, которые имели непосредственное отношение к сфере ее интересов, т. е. были для нее как-то эмоционально, «лично» окрашены. Она рассказывала, как, обучаясь в Академии художеств, сдавала экзамен по истории коллеге и знакомой своего покойного отца, которая отказывалась верить, что дочь Андрея Яковлевича Борисова может до такой степени «плавать» в фактах и датах. Он-то действительно был настоящим эрудитом и помимо множества языков, живых и мертвых, свободно оперировал массой научных знаний. Зато мама помнила буквально по дням все семейные даты (за себя и за всех нас) и точно знала, где искать нужную вещь или книгу на многочисленных полках, заставленных в три ряда.

Экзамены в аспирантуру Института истории искусства мама сдавала, остановившись в Москве у давних друзей талановской семьи Ванюковых-Гнедовских. Еще до революции агроном Виктор Викторович Таланов сотрудничал в Сибири с агрономом Константином Андреевичем Ванюковым, дочку которого, Верочку, Талановы опекали, когда она приехала учиться в Петербург. Потом повзрослевшая Верочка Ванюкова уехала работать в Свердловск, где вышла замуж за Петра Евгеньевича Гнедовского и родила в этом браке троих детей. А еще позже, вскоре после войны, семья переехала в Москву, где П. Е. Гнедовский стал работать инженером в архитектурной мастерской Л. В. Руднева при Военпроекте.

Мама до этого с Верой Константиновной и Петром Евгеньевичем была почти незнакома, зато в Новом переулке пару раз появлялся их старший сын, студент Московского архитектурного института Юра Гнедовский, с которым она успела подружиться и вступить в переписку. Проницательный читатель догадался, что дружба эта впоследствии переросла в брак, а квартира в мансарде на Садовой-Кудринской, в которой мама готовилась к экзаменам, стала позднее ее семейным домом.

Впрочем, произошло это далеко не сразу. В момент маминого переезда в Москву, в доме на Садовой-Кудринской продолжала жить семья моего деда. Он значился инженером этой постройки и, как и все сотрудники мастерской Руднева, после завершения строительства

«генеральского дома» в 1947 году, получил в его мансардном специально для этой цели возведенном этаже квартиру, выходящую окнами на Патриаршие пруды. Что же касается перебравшихся из Питера бабушки и мамы, а также «примкнувшего к ним» папы, с которым мама в 1956 году сочеталась законным браком, то они втроем поселились в Хрущевском переулке. Здесь в большой коммуналке находилась комната, которую удалось выменять за ленинградскую квартиру.

При вселении в это первое для мамы московское жилье впервые обнаружилось, что она обладает редким талантом планировать, обустроить и обустраивать любое место своего обитания: «Где и когда бы я не жила/В гостинице, и в каюте,/Я раздувала искру тепла/В их казенном уюте», — писала она позднее. Именно мама, а не папа, получивший профессиональное архитектурное образование, перепланировала единственную комнату в двухкомнатную квартиру с коридорчиком и антресолю, на которой впоследствии спала няня моего старшего брата Андрея. Габариты получившихся крошечных комнаток были выверены с точностью до сантиметра так, чтобы в них влезла вся необходимая и любимая мамой «семейная» талановская мебель, перевезенная из Ленинграда и впоследствии кочевавшая вслед за родителями.

Конечно папа, делавший полки, стеллажи и столы из подручного материала, вносил свою лепту в обустройство, но верховным главнокомандующим в этих вопросах всегда оставалась мама, которая не только мерила и планировала, но и шила занавески, перетягивала мебель и старые абажуры, реставрировала разные мелочи, приделывала «ушки» из шпилек к старинным тарелкам, которые вешались на стену. И делала она это вдохновенно, изобретательно и с неизменным вкусом, поддерживая везде какой-то особый легкий, обаятельный, подвижный и, вместе с тем, семейно-традиционный дух, на котором мало отражалась изменчивая мода.

Подтверждением неизменности маминых предпочтений может служить история следующего переезда, когда молодая семья сменила комнату в коммуналке на крошечную, но уже отдельную двухкомнатную квартиру на Тишинке, где предстояло родиться мне. Продумывая жизнь в свежестроенной в согласии с новыми веяниями пятиэтажке, папа, молодой архитектор, предложил маме сменить массивную «гнедовскую» мебель красного дерева на тонконогие дизайнерские изыски 1960-х. В ответ он получил от мирной и на все ради него готовой мамы отказ в столь категоричной и нелицеприятной форме, что больше об этом

никогда не заикался. При этом маме вовсе не чужд был пафос оттепельной эпохи, о которой она впоследствии с благодарностью вспоминала:

*О, эти 9 дней одного года!
О, эти физики на шелковой подкладке!
В умах царила первая свобода,
Казалось, дальше будет все в порядке.
<...>
Теперь их очень многие забыли,
Все заслонили свежие невзгоды,
Но неизвестно, где бы мы все были
Без этих светлых дней одного года.*

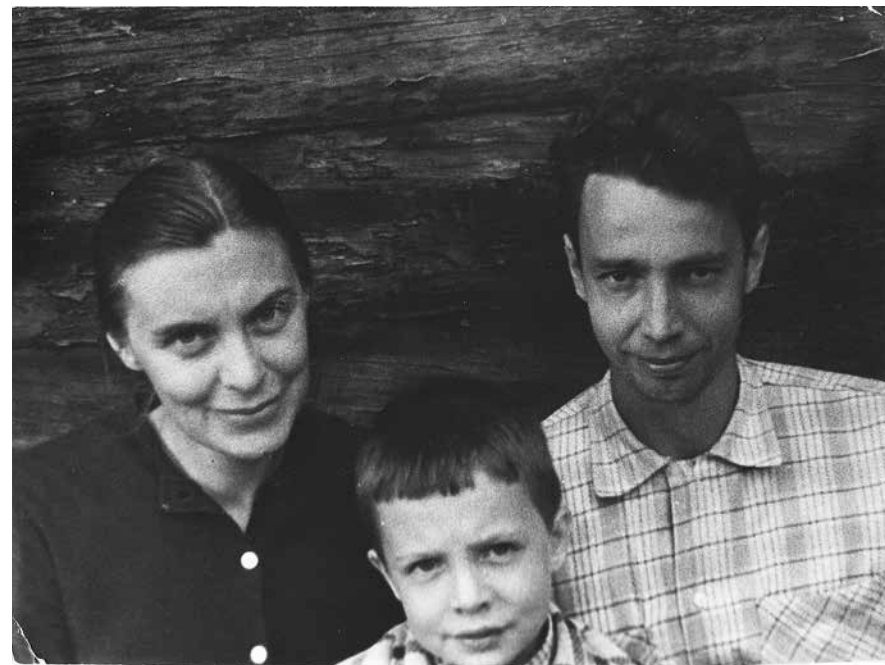
Многие приметы той обнадеживающей и радостной эпохи — брючные костюмы, яркие шелковые косынки, круглые солнечные очки в громадной пластмассовой оправе, полосатые салатники или кувшины в крупный горох — мама с энтузиазмом приняла и включила в веселый водоворот своей жизни. Но предметы, связанные с семейным прошлым и памятью о родных в ее системе ценностей не подлежали ни изъятию, ни замене, ни даже обновлению. Они были для нее той точкой отсчета и той константой, которая не менялась на протяжении всей ее жизни.

Следующий и окончательный переезд нашей семьи произошел уже после моего рождения в 1968 году, когда папины родители поменялись с нами, уступив квартиру на Садовой-Кудринской. Я не знаю, как выглядело это жилище, пока в нем жили мои аскетичные бабушка и дедушка, но в моем детстве оно приобрело вид, ставший для меня эталонным. Торжественная талановская мебель — прадедушкин письменный стол на полукруглых ножках, два разноразмерных ампирических секретера красного дерева (мама почему-то упорно называла их «бюро»), два «павловских» кресла с бараньими головками на гнутых ручках — как-то удивительно органично соседствовали здесь с самодельными книжными полками, крашеными марганцовкой, столами из чертежных досок, абажурами из ватмана и перевернутых вверх дном плетеных цветочных корзинок или веселыми занавесками в крупный цветок, сшитыми мамой. А развешанные по стенам бисерные картинки в рамках и миниатюрные овальные портреты Александровской эпохи из коллекции тети Лины прекрасно сочетались с папиными акварелями, детскими рисунками, фотографиями и другими милыми пустяками.



5. Молодожены Елена Андреевна
Борисова и Юрий Петрович Гнедовский
1956

Я не знаю, дань ли домашней истории или личные интеллектуальные и стилистические предпочтения определили тесную связь мамы с XIX веком, который в итоге стал предметом ее научных штудий и частью ее самой. В нашем домашнем быту ушедшее столетие присутствовало, кажется, даже в больших объемах, чем текущее, двадцатое, да и сама мама в большой степени казалась «продуктом» и представителем той дворянской культурной среды, к которой не имела никакого отношения ни по происхождению, ни по возрасту. В частности, ее своеобразный аристократизм проявлялся в умении непринужденно смешивать ценное и копеечное, фундаментальное и сиюминутное, превращая все это вместе в нечто достойное, цельное и самобытное. И про нее, с ее строгим вкусом и безошибочными стилистическими фильтрами можно было с полным правом сказать «голь на выдумки



6. Елена Андреевна Борисова и Юрий
Петрович Гнедовский с сыном Андреем
1963

хитра», потому что мама была мастером всевозможных импровизированных приспособлений. Например, по мере увеличения числа нужных ей в работе книг, по периметру ее письменного стола уже в последние годы жизни выстраивались причудливой конфигурации «стеллажики», собственноручно возводившиеся ею из маленьких кухонных досочек, последовательно облакачивавшихся друг на друга.

Мама и меня с раннего детства приобщала посредством личного примера ко всякому веселому и артистическому рукоделию: она шила себе и мне юбки и платья; вязала кофты, свитера и шали (в подобные вязаные крючком шали вечно кутаются печальные большеглазые героини Тарковского); в какой-то момент взялась за перелицовку шуб в популярные тогда дубленки, элегантно и изобретательно камуфлируя вылезавшие наружу швы. Ну и перетянутые новыми ситцами абажуры,

которые висели не только у нас, но и у многих родственников и друзей, были ее коронным номером. Остовы для них предварительно разыскивались на дачных мусорных свалках или на руинах разрушаемых в центре Москвы старых домов: по столице шествовала первая волна того, что сегодня гордо именуется «реновацией».

Оглядываясь назад, я не понимаю, как мама ухитрялась создавать вокруг себя такую теплую, уютную, красивую атмосферу, да еще столь активно работать в тех тяжелейших условиях, которые выпали на ее долю. Вплоть до своей смерти в 1981 году мамина мама, моя бабушка, жила с нами, и это совместное существование порой носило крайне тягостные формы. На фоне регулярных семейных сцен заболел психически мой старший брат Андрей, трепетный и необычайно добрый мальчик, попавший в полную зависимость от чрезвычайно деспотичной бабушки. Ему было пятнадцать, когда его болезнь стала очевидной данностью. Мне тогда исполнилось шесть. В мансарде на Садовой-Кудринской Андрей жил с родителями вплоть до своей внезапной смерти, последовавшей в 2010 году. Все 38 лет его болезни мама постоянно бдительно отслеживала перемены в его настроении и состоянии, храня его, служа ему, ободряя, жалея, поддерживая, а когда нужно, подвигая на какие-то действия, урезонивая, успокаивая. Папа тоже всем сердцем и душой участвовал в семейных проблемах и перипетиях. Достаточно сказать, что на нем традиционно были все «внешние связи», включая разговоры с врачами, общение с которыми очень тяжело давалось маме. Но папа большую часть времени проводил на работе, и домашние заботы легко вытеснялись в его сознании служебными проблемами. Мама же ни на секунду не забывала о нас, не слагала с себя ответственности за все, происходящее дома. Неимоверных усилий стоило заставить ее хоть ненадолго отключиться, поехать в какую-нибудь командировку или просто сходить в гости. Если это удавалось — она неизменно возвращалась обновленной, приподнятой, помолодевшей. Зато, если хоть что-то дома в ее отсутствие или вскоре после него шло не так, она считала это возмездием за свое «недопустимое легкомыслие».

Я не чувствую себя в праве рассуждать о мамином вкладе в науку, но не могу не задать простым житейским вопросом, как и когда она умудрилась изыскать в библиотеках, архивах и мемуарах столько материала, осмотреть, изучить и проанализировать столько памятников, да и просто написать столько книг и статей на самые разные, часто совершенно новые, первопроходческие темы? Двухуровневое фамиль-

ное гнездо на Садовой-Кудринской могло казаться огромным после двухкомнатной малогабаритной квартирki в хрущевке или, тем более, комнаты в коммуналке. Но в реальности в нашей квартире было всего две изолированных комнаты — небольшая, со скошенным мансардным потолком и совсем маленькая. Совсем маленькую занимала бабушка, в небольшой жили родители и я. Остальная часть квартиры состояла из единого двусветного пространства, грандиозного по высоте и относительно небольшого по площади. Брат спал на проходной верхней галерее, а мама работала в темной и душной нише внизу, отделявшейся от остальной квартиры эфемерной занавеской. При этом на втором этаже располагалась неудобная, узкая кухня, где на плите кипел суп или варилась картошка, о существовании которых мама, увлекшись работой, вспоминала нередко только после того, как до нее долетал недвусмысленный запах гари. Кстати, во время одной из таких ее спешных (бегом вверх по лестнице) отлучек на кухню, обрушился потолок в нише, где мама за несколько минут до этого сидела. Пришлось перебазировать научные занятия в нашу общую комнату, благославляя судьбу, что штукатурка рухнула не на ее голову. До ремонта заваленной книгами и вещами ниши руки дошли лишь через несколько десятилетий.

С момента переезда маминого рабочего стола в нашу комнату, ее от кухни стало отделять уже целых две двери, что дополнительно понизило качество семейного питания. Еду мама вообще готовила кое-как — к этому делу ее душа явно не лежала. А еще мама не любила и не умела толком сводить дебит и кредит и ей вечно не хватало денег до зарплаты. Это не мешало ей (к ужасу папиных родителей) пользоваться такси, забегать в убогие советские кафешки «попить кофе», а также с азартом рыскать по комиссиям в поисках необычных одежек или милых ее сердцу предметов старины. В случае срочной необходимости деньги перехватывались в долг у кого-то из коллег или друзей. А главным источником долговременных займов была бессменная домработница Сирафимы Бирман Груша, нежно любившая маму и безропотно вынимавшая для нее из-под матраса очередной транш. Раз в месяц мама приходила довольная, груженная множеством сумок с едой и какими-нибудь вещичками, и папа неизменно спрашивал: «Зарплату получила?» А мама также неизменно обижалась — она действительно любила тратить деньги на радостные пустяки.

Все эти мелкие слабости, которые мама себе позволяла не без некоторой даже бравады, не отменяют того неопровержимого факта, что она

исправно и безропотно тянула на себе весь нелегкий домашний быт. Папа традиционно делал самую неприятную и тяжелую работу: мыл и натирал мастикой паркетный пол, драил унитаз и помойное ведро и чистил селедку. Но остальное-то делала мама при посильной помощи бабушки. А ведь в те патриархальные времена считалось, что обед должен непременно состоять из супа и второго, да и на ужин нельзя ограничиваться одними бутербродами. Хочешь не хочешь, маме приходилось регулярно готовить. А еще она подметала, мыла посуду, стирала вручную одежду на всю семью и гладила ее, нашивала метки на постельное белье и носила его в прачечную и т. д. и т. п. А уж каким непростым делом в пору тотального дефицита было «снабжение», причем не только продуктами. Я хорошо помню своего рода «рождественскую историю», когда бредя зимним вечером по улице Красина, мы с мамой заметили в подворотне мерцающий свет свечи и обнаружили импровизированный лоток, с которого продавали туалетную бумагу. Отстояв даже не самую большую очередь, мы стали счастливыми обладателями двух гирлянд из сереньких рулончиков, нанизанных на пеньковую веревку. С этим баснословным по тем временам богатством наперевес мы шли домой сияющие и гордые на зависть всем встречным.

Помимо этих рядовых, каждому советскому человеку хорошо знакомых проблем над мамой все время висел дамоклов меч домашних неурядиц, тревог, связанных с братом (бесперебойное обеспечение его лекарствами тоже было делом неимоверной сложности), да и мои бесконечные болезни. Идя на поводу модных психологических теорий, можно предположить, что я бесконечно болела в детстве потому, что мне нравилось получать утраивавшуюся в эти моменты норму маминой и без того огромной и безоглядной любви и заботы. Ну а вторая причина моего стремления как можно меньше бывать в школе, тоже была косвенно связана с мамой. Ведь это именно она, а не куда более социально активные и открытые миру папа и бабушка, внушила нам, детям, уверенность в том, что «единственно верным» местом является наш дом, а самыми главными людьми — те, кто его населяет и в него приходит. Все, что выходило за узкие рамки семьи и круга друзей, весь этот большой советский мир, мама (опять же в отличие от папы и бабушки) старалась отдалить как можно дальше и от себя, и от нас. Она потрафляла моему нежеланию ходить в школу и не обращала внимания на дурную успеваемость, зато категорически не позволяла врачам скорой помощи увезти меня в больницу с воспалением легких



7. Соломон Эпштейн. Портрет Лели Борисовой. 1952
Бумага, сангина. 40 × 48
Собрание Е. А. Борисовой



8. Екатерина Григорьева. Портрет Елены Борисовой. 1977
Холст, масло. 56 × 60
Собрание Е. А. Борисовой

или сотрясением мозга, будучи уверена в априорном вреде любых «казенных домов». Именно поэтому я счастлива, что мама умерла дома, а не в больнице, окруженная любовью тех, ради кого сама всю жизнь шла на любые жертвы.

Собственно, само слово «жертва» мама, столь точная и чуткая в выборе слов, не одобрила бы, поскольку в нем слышится патетический надрыв. Мама просто любила и жалела нас всех гораздо больше, чем саму себя, подсознательно (а отчасти и сознательно) руководствуясь простыми и можно даже сказать «эгоистическим» соображением, что счастье возможно только в забвении себя и полной самоотдаче. Еще несколько нехитрых жизненных установок, сводимых к банальным формулам, что «лучшее враг хорошего» и «не пили сук, на котором сидишь», позволяли ей строить отношение с родными с такой бережной нежностью и терпимостью, что отношения эти не просто сохранялись, но и укреплялись с каждым днем. В этих отношениях, базирующихся на безоговорочном и абсолютном взаимном доверии, совершенно не было того, что сама она называла «вздором» от слова «вздорный».

Она была твердо уверена, что на выдвигании взаимных требований, обвинениях, ультиматумах, противостоянии и «перетягивании каната» семейного (как и любого другого) счастья не построишь. Одной из самых порицаемых ею была фраза «может, я тоже хочу!», произнесенная некогда ее подругой, молодой матерью, не желавшей отпустить мужа одного в какие-то гости. Сама мама, казалось, легко жертвовала своей радостью в пользу тех, кого любила.

У мамы были две ближайшие подруги, в равной мере яркие, одаренные, очень разные и одновременно неуловимо похожие друг на друга. Первой из них была упоминавшаяся уже коллега по институту Вигда Хазанова, которую, судя по многочасовым беседам по телефону за закрытыми дверями, скрытная и целомудренная мама избрала в качестве конфиденанта. Ей посвящено стихотворение:

*Когда походкой отточенной
Идем красивы и злы,
Никто не скажет, что только что
Мы кончили мыть полы.*

*И этими вот руками,
Где каждая так чиста,
Мы драили порошками
И ванну, и унитаз.*

*И в тихом читальном зале
В силу этих причин
Мы далеко обогнали
Самых ученых мужчин.*

А другим ближайшим человеком была подруга маминой юности чрезвычайно талантливая художница, да и в целом очень одаренный, яркий человек Катя Григорьева. В свою очередь Катин муж-физик Владимир Иванович Григорьев, или Вовочка, как звали его родители, был наивернейшим и наилюбимейшим другом папы, да и всей семьи. Вообще при маминой столь выраженной семейственности и столь безоглядной любви ко всем нам, родственные связи вовсе не были для нее важнее дружеских. Они с папой умудрились через всю жизнь пронести отношения с соучениками, друзьями юности и молодости. При этом,

сохраняя на протяжении десятилетий тесные и нежные отношения с достаточно широким кругом людей, мама, казалось, не стремилась к расширению этого круга или «ротации» тех, кто в него входил. У нее не было потребности «на людей посмотреть, себя показать», ей было совершенно чуждо желание «вращаться», «быть на виду» или хотя бы «в курсе». Также мало дела ей было и до «текущей политической повестки», которой живо интересовались папа и бабушка.

Пренебрежение к актуальной моде явствовало не только из облика нашего дома, но и из того, как мама одевалась. Рискну утверждать, что она была образцом элегантности, при том что десятилетиями не изменяла прическе своей юности и носила однотипные, максимально нейтральные по фасону узкие длинные юбки (заметную часть которых шила сама), кофты и пиджаки почти исключительно темно-синего цвета с минимумом «семейных» украшений. Я помню, что, когда я со свойственной мне категоричностью осудила подаренные ей бусы (которые она надела из любви к дарителю), она шутя сказала: «Я такая благородная, что на мне никакая вещь не будет выглядеть пошло!» И ведь она была права! Будучи человеком очень скромным и совершенно лишенным высокомерия, мама при этом на редкость мало зависела от мнения «чужих», независимо от их социальной, партийной, гендерной, национальной и прочих принадлежностей. А чужими для нее были все, не включенные ею в круг «своих». Не случайно мы с папой и бабушкой стеснялись болезни брата, а она нет. И их с папой крайне редкие ссоры (папа не помнит о них вовсе, а я, злопамятная, помню за пятьдесят лет пару) происходили ровно на почве ее пренебрежения к тому «что люди скажут», непонятного и неприятного папе.

При этом не стоит думать, что мама была эдаким умильным ангелом — вовсе нет! Близкие знают, что она была человеком ироничным, язвительным и не в меру страстным. Обиды (тех, кого не любила) помнила всю жизнь и при всей своей проницательности и мудрости нередко проявляла подозрительность и мнительность там, где вполне можно было этого не делать. Я нередко возмущалась ее пристрастностью, поскольку родным и близким она, наоборот, доверяла сверх всякой меры и прощала все. Не только убеждение, что кто-то из нас ей чем-то обязан и перед ней в долгу, но даже и ревность были ей практически чужды. Только один раз, когда я, долго не показываясь у них, упомянула в разговоре, что навестила одну не слишком близкую и довольно вздорную старушку, мама, вздохнув, сказала: «Лучше бы ты

ко мне заехала!» Она легко отпустила меня («свет в окошке») сначала замуж в 19 лет, а вскоре и за границу с семьей. И за все шесть лет нашего отсутствия мы не услышали от нее ни одного упрека, ни одного намека на то, что им тяжело справляться одним и нам следовало бы вернуться. На дворе были «лихие девяностые», и мама не уставала радоваться, что мы (в отличие от них!) находимся в покое и безопасности. А ведь именно на это время пришлась мамина тяжелейшая онкологическая операция, о которой мы узнали постфактум, и ночное нападение на папу в собственной квартире на Садовой. (Нападение, которое склонная к эффектам «Комсомольская правда» на следующее утро прокомментировала фразой: «Обливаясь кровью, Юрий Гнедовский упал на руки жены», чем до смерти напугала моих ни о чем не подозревавших бабушку и дедушку.)

Конечно нас, родных и любимых, мама тоже умела мучить. Например, чем дальше, тем больше она изводила себя и нас страхами, возникавшими нередко совершенно на пустом месте: не стой под форточкой, надует; держи маленького, он упадет со стула; не ездь на машине — опасно и т. д. Тяжелый опыт жизни, многочисленные потери к старости поселили в ней постоянную тревожность. Когда после перелома шейки бедра мы заставляли маму снова учиться ходить, она упорно отказывалась осваивать подъем на лестницу, но, когда ей показалось, что наверху как-то «подозрительно затих» папа в своей комнате, она взмыла по ступенькам со скоростью молодого и здорового человека, а потом принялась безжалостно будить его, заснувшего, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Зато в ситуациях действительно тяжелых и страшных мама обрела невиданную стойкость и трезвость, действовала быстро и четко, являясь источником уверенности и спокойствия для всех окружающих. Эта редкая и завидная способность к мгновенной мобилизации всех душевных и физических сил сохранялась у нее вплоть до глубокой старости. Видимо, это же свойство имело оборотной стороной состояние хронической нервной усталости, сопровождавшее ее большую часть жизни.

*Если бы было можно,
Пока над тобою плачут,
Пока произносят речи,
Провожая в последний путь,*

*Если бы было можно,
Свернувшись в гробу калачиком,
Тут-то впервые в жизни
Как следует отдохнуть.*

Смею надеяться, что относительный отдых наступил в маминой жизни все-таки несколько раньше. Оставшись вдвоем после внезапной смерти брата, они с папой прожили еще десять счастливых лет, продемонстрировав, что и в отсутствие экстремальных физических и психических нагрузок можно оставаться дружными, терпеливыми и внимательными друг к другу. Мне отрадно думать, что мамина установка на полную, безоглядную самоотдачу в полной мере себя оправдала, позволив ей прожить такую долгую жизнь в окружении тех, кого она любила и кто любил ее. Как ни странно, число этих людей со временем не убывало, а может быть, даже преумножалось. Помимо коллег разных возрастов с ней дружили дети ее друзей, мои друзья и даже друзья моих детей, ее внуков. И на всех хватало ее тепла, заботы, внимания, интереса, такта и какой-то неиссякаемой внутренней веселости. Именно поэтому я думаю, что мамина жизнь была не только страшно тяжелой, героической и образцовой, но и «удачной», если такие категории вообще применимы к жизни. Потому что в итоге эта жизнь была счастливой, причем как для самой мамы, так и для тех, кто жил рядом с ней или даже просто ее знал. Если вы посмотрите на фотографии и портреты, вы увидите, что мама на них светится. Почти на всех.